

тес, что вы не специалисты-теологи. Верующие, чувствуют свое право заняться делом их жизни и смерти.

20) Мы будем иметь общие таинства. В обрядах, вероятно, первые годы должны одновременно принимать участие священники разных толков. Наши службы, гимны и молитвы могут быть совокупностью служб, гимнов и молитв всех церквей в сослужении их пастырей. И медитация индуса должна найти свое место. Если мы захотим избрать один язык для общей молитвы, или гимн, или обряд, то это будет не язык славного народа и не обрядность великой церкви, а, наоборот, — скромного племени и малой церкви. Потому что сильные, будучи сильными, могут легко уступать первое место слабым, и не будет соблазна, а радость.

21) Мы услышим обычное: наивно, легкомысленная утопия, вы ничего не достигнете. Можно взоразить: вы то большего достигли? а там, где достигли, быть может, и мы (или нам подобные) сыграли какую-то роль! Спорить бесполезно. Мы не стремимся к конечной цели, и радуемся только каждой минуте, проведенной в милосердии и любви. Я ограничусь этим. Если в моих словах вы подчас узнавали свои мысли, то и другие — на улице — услышат в нашем голосе: себя. Удел многих колебаться и ждать случайного, попутного ветра; на нас же падает тяжесть, — создавать этот ветер.»

В. С. Яновский.

Апология пессимизма

Auf verstorbene Wege von Byzanz...

George.

Намечая данную тему, буду исходить — из Ницше и К. Леонтьева, а также Шпенглера.

Философско-исторические вопросы не были в центре внимания Ницше. Но у него можно найти схему или да-

же схемы философско-исторических концепций. О значительности его политического «духовного завещания» можно судить хотя бы по книге E. Schreiner'a — *Nietzsches politisches Vermächtniss in Selbstzeugnissen*. 1934.

Он осуждал веру Руссо в добрую природу человека, а также веру в мирный прогресс человечества. Ему были враждебны основные социальные тенденции XIX века — либерализм, национализм, социализм. Но подобно большинству столь враждебных ему социальных мыслителей прошлого столетия, он был оптимистом в плане историческом. Он надеялся, что известная варваризация окажется благодетельной для старой Европы. Он с удовольствием отмечал: «Наступает эпоха одичания и вместе с тем обновления сил». Он находил, «что приход к власти обойдется недешево: ибо власть приводит к поглупению» (*die Macht verdummt*), к варварству. Но это поглупение как будто не пугало его: «Современные немцы разучились думать — и хорошо делают! Они нашли себе лучшее занятие. — Их занимает теперь «большая политика», которая необходима для осуществления великих дел». И вот он утешается мыслью: «Немцы теперь редко задумываются. Но кто знает! — Может-быть, через два поколения, им больше не понадобится жертвовать умом ради воли к власти». Он мечтал о торжестве «белокурой германской бестии», о том, что «немцы... будут первым нехристианским народом в Европе» и о новых властных натурах, которые сумеют надуть серенькую европейскую демократию.

Конечно, к этим политическим заветам Ницше нужно относиться с большой осторожностью; и если он был пророком национал-социализма, то лишь — между прочим! Да, он как будто был готов купить волю к власти (*Wille zur Macht*) ценой поглупения (*Verdummung*). Но мы знаем, что эта цена была для него дорогой, слишком дорогой ценой, и поэтому (что вполне естественно) он впадал в противоречия. Так в одном письме он жалуется на немцев, говоря, что они слишком глупы для понимания его произведений! Но эти слова, конечно, были сказаны в минуту раздражения. Большого внимания заслу-

живает его отношение к пруссачеству, на которое он возлагал большие надежды: «Будущее Германии находится в руках сыновей прусских офицеров»; но он же призывал остерегаться прусского духа. Вот, что он пишет о «германской глубине» (deutsche Tiefe): мы хорошо сделаем, если и впредь будем гордиться данным нам наименованием народа мудрецов, и ни в чем не уступим трезвым, резким пруссакам. Также противоречивы и другие его «высказывания»: то он находил, что немцам полезно унижение, а то, как мы уже видели, мечтал о германском великодержавии, германской гегемонии; то заявлял «gut deutsch sein heisst sich entdeutschen» (быть добрым немцем значит разнемециться), а то требовал очищения расы: Конечно, этого рода противоречия носят скорее внешний характер, и все они находят объяснение в творческих глубинах ницшевского духа. Но обсуждение этой проблемы завело бы слишком далеко. Обойдем также вопрос о развитии политических взглядов Ницше, и остановимся только на его оптимистической апологии благодетельной для Европы варваризации. Эта варваризация — уже не мечта, не домysel, а — сама действительность.

Можно сказать, что грубость, неразвитость есть признак исторической молодости народа. Но глупость, дикость, варварство — после периода культурного цветения — есть скорее своего рода вторая или третья молодость, т.-е. явление весьма сомнительного качества, нездоровое явление. — Как будто старику не пристало мечтать о диких страстях. Старческое бессильное вождение — есть разврат. Молодиться — отвратительно; а омолаживаться — опасно: ведь, эта операция, как известно, сопряжена с большим риском.

Европа — немолода, и ей незачем позорить себя — молодиться и омолаживаться при помощи дешевых рецептов большевизма или фашизма. Она не должна предавать забвению своего великого прошлого, т.-е. традиции христианства и гуманизма.

К тому же низшие слои населения, — пролетарии и мелкие буржуа — не варвары; и если они нам иногда все-

таки кажутся варварами (когда их сбивают с толку современные народные тираны), — то, ведь, это весьма молодые, т.е. плохие варвары, нервные варвары. Они любят спорт, но техника, индустрия нашего электрического века и массовый гипноз, применяемый современными диктаторами, их чудовищная черная магия расшатывают нервную систему так называемого нового варвара, который — не дитя природы, а прежде всего — городской человек.

В Тевтобургском лесу можно было жить будущим, но в казармах, на фабриках, в канцеляриях, в бетонных домах — невозможно. Однако, социально-политический футуризм до сих пор в моде: и приводит к безмысленным жертвам. Этот оптимистический футуризм XX век унаследовал от XIX-го; формы — другие; но генеалогия его восходит к гуманистам-утопистам и либералам классического типа прошлого века. Ницше ненавидел и тех и других, но сам тоже был на свой лад оптимистом. В XIX веке очень трудно найти социально-политических пессимистов. Их было немного — но ими были, например, граф Ж. де Мэстр и К. Леонтьев. Остановимся на последнем. В русской литературе он стоит совершенно особняком. Бердяев верно указал, что его аристократический эстетизм очень чужд русскому сознанию.

К. Леонтьев был страшно одинок. Но, благодаря своему одиночеству, видел дальше, зорче. Он был философом и историком диллетантом, подобно Шатобриану, но обладал необыкновенно острым «чувством истории». Как удивительно — ведь, он вышел из той же среды, что Тургенев, Толстой. Но не правда, не добро, а красота всецело заворожила его. Он был эстет-хищник. Он писал: «Жанна д'Арк проливала кровь, а она разве не была добра, как ангель? И что за односторонняя гуманность, доходящая до слезливости!.. Одно столетнее дерево мне дороже двух десятков безличных людей, и я не срублю его, чтобы купить мужикам лекарство от холеры». Как известно, он десять лет служил консулом на Балканах. Пестрый, дикий балканский быт произвел на него необыкновенно сильное впечатление, и он жалел, что ему на смену идет ев-

ропейская цивилизация. Он писал: «Байрон не предвидел, что интересная Греция его Корсара есть лишь плод азиатского давления, и что освобожденный от турка корсар наденет дешевый сюртучишко и пойдет болтать всякий вздор на скамье афинской говорильни». Ему был ненавистен либерально-эгалитарный процесс европейской цивилизации. Также как Карлейль, Ницше, он ненавидел европейского цивилизованного филистера, *Durchschnittsmensch'a*. Он не знал Ницше, но у него с ним, несомненно, было много общего. Они оба прославляли мужественные, аристократические добродетели, и оба были пламенными защитниками неравенства.

Ницше писал: «Так говорит мне справедливость: люди не равны». И поэтому он ненавидел демократию. «Демократия указывает на отсутствие веры в великих людей и избранное общество: каждый равен каждому... А на самом деле, все вместе просто скоты». К. Леонтьев также ненавидел демократический идеал равенства. В так называемом цивилизованном обществе все становятся очень похожими друг на друга. Цивилизация — уравнивает подобно смерти. Трупы, скелеты — равны друг другу; но не живые существа. Равенство враждебно жизни. Основной принцип жизни — принцип неравенства. К. Леонтьев верил, что сам Бог хочет неравенства, противоположностей, разнообразия, сложности. Бытие — иерархично. Здесь он опять совпадает с Ницше, который говорил, что в век *suffrage universel* он хочет восстановить принцип иерархии (*die Rangordnung wiederherzustellen*). К. Леонтьев и Ницше ненавидели современную им демократию, потому что им было обидно за человека, который теряет лицо, тускнеет в процессе развития цивилизации.

Но Ницше, как мы видели, был оптимистом в плане истории. Он верил, что варваризация Европы приведет к обновлению сил: и появятся новые тираны, *«herrschaftliche und cäsarische Geister»*, у которых будет воля к власти, к могуществу.

У К. Леонтьева этой веры не было. Социалисты ему импонировали больше, чем либералы. Он со злорадством

предсказывал, что социалистам нужна будет дисциплина: «Им понадобится предание покорности, привычка к повинению». Он писал: «Хлеба и зрелищ! кричали римские толпы! Хлеба и веры! хотя бы ценою новых видов рабства, — будут кричать все народы Европы!». Бердяев в своей книге о К. Леонтьеве говорит, что он предсказал большевизм и фашизм, которые включают элемент веры.

Но новые войны и революции, новые идеологические опыты, ради которых будет литься кровь, не оживят Европы. К. Леонтьев находил, что европейское человечество — очень устарело. Применяя терминологию Шпенглера, можно сказать, что он считал неизбежным торжество цивилизации над культурой, т.-е. — смерти над жизнью.

Ницше произвел бы сильное впечатление на К. Леонтьева (и обратно). Но Леонтьев осудил бы оптимистический имморализм Ницше в политике. Он осуждал также религиозный оптимизм Достоевского. Исходя из Апокалипсиса, он находил, что Достоевский исповедует «розовое христианство», и, «подобно великому множеству европейцев и русских всех веков, все еще верит в мирную и кроткую будущность Европы». Ему претил любой оптимизм.

Но не будем углубляться в творчество «византийца» К. Леонтьева, который, по признанию Бердяева, а также Розанова — будучи консерватором, был вместе с тем одним из самых свободомыслящих русских мыслителей. Вот диагноз К. Леонтьева: Европа стара, устарела; положение Европы, которую «прогресс» ведет к смерти — безнадежно. Но следует искусственными мерами задержать приход смерти; и он прописывает смертельно больной Европе — абсолютный покой в консервной банке традиций.

Шпенглер считал, что этот покой (в смысле творческом), так или иначе наступит. Он писал о наступлении (после 2200 г.) в Европе эпохи, которую характеризировал, как эпоху египтизма, мандаринизма, византизма.

Но у Шпенглера не находим апологии неподвижности, консерватизма; он лишь констатировал факты. Эту апологию находим у К. Леонтьева. По его убеждению,

торжество цивилизации есть торжество смерти. Но его идеал неподвижной, замороженной России, а также Европы — есть тоже царство смерти. Он защищал эту консервацию во имя жизни; он хотел отсрочить гибель; и надеялся, хотя бы на короткий срок, сохранить столь восхищавший его образ, облик старой Европы — монархической, христианской, индивидуально пестрой и на верхах и на низах. Может-быть — это зрелище неподвижной, застывшей старой Европы, — более прекрасно, чем серая панорама цивилизации. Но если равенство — признак смерти (по К. Лсонтьеву), то неподвижность — тоже признак смерти.

Если возможна апология неподвижности, покоя, то это будет не апология жизни, а — смерти.

Жизнь всегда движение, начало чего-то, а смерть — неподвижность, конец.

Когда человек полон творческих сил — он не хочет смерти, потому что ему чего-то не хватает, и он тогда чего-то добивается. Но если временное, земное уже не соблазняет — в качестве материала, сырья — что же остается? — Одна смерть, конец; и в таком случае конец (но не обязательно — любой конец) — не только неизбежен, но и желателен.

Желать смерти — признак усталости, пресыщенности. Но не всегда: иногда конец есть нечто желанное, не потому, что сил нет, или все безразлично, а потому, что сил еще много, но больше не соблазняет дурная бесконечность жизни: завоеваний и жертв, захвата и отдачи, постоянного обмена веществ; и вот хочется все, что есть — кому-то окончательно, вполне отдать — *ausgefüllt sein* (Goethe).

Иногда мыслящим людям современной Европы кажется, что они очень беспомощны в мире классовой и расовой ненависти. Это так... Но интеллектуальная Европа — если и слаба, то не бедна, а богата; она помнит заветы христианства и гуманизма — и в этом ее богатство; она помнит две истины: что каждый человек ценен для Бога, ибо сотворен по образу и подобию Божию, и что

каждый человек ценен сам по себе, как самоцель (Кант); она помнит эти две истины, хотя плохо верит в них. Но память — тоже своего рода сила: память освобождает от власти времени, как доказал величайший современный художник слова — Пруст; и память обязывает. Если нет веры, нужно помнить о тех, кто верил, боролся, строил, о наших духовных предках; и нужно их достойным образом похоронить.

Память имеет необыкновенную емкость, и ее можно умело расширять, но она — не гарантирует бессмертия. Память прерывается смертью, также как ее обладатель — живой человек; но память может пережить смертного человека, если этот последний сумеет ее воплотить: в памятнике.

Европа верила, творила, любила, ненавидела, страдала, веселилась: и теперь, перед концом, должна сама себе поставить памятник, воздвигнуть александрийский столп *in memoriam* своей культуры, своей жизни: это тема, это задание.

У современного европейского *intellectuel* нет вкуса к духовным завоеваниям новых Америк и Индий духа; но он еще не выполнил своего последнего долга — перед прошлым. Он обречен, но у него еще есть дело: и для выполнения этого дела необходима длительная, напряженная, вдохновенная работа — годы мучительного и вместе с тем радостного труда.

Старой — христианской и гуманистической Европе еще рано умирать: необходимо отсрочить ее гибель на несколько десятилетий; сохранить ее.

Новое варварство не обновит сил — как думал Ницше, который тоже, ведь, не безоглядно, не без сомнений возлагал надежды на одичание: «Если Европа окажется в руках толпы, европейской культуре — конец. Борьба бедных и богатых. Это последняя вспышка. И тогда нужно спасать, что еще можно спасти».

Современные европейские варвары — тоже старые, тоже нервные, тоже дети электрического века, т.-е. позд-

него века, также как *intellectuels*, которых они так ненавидят.

Нужно задержать варваризацию, но не во имя жизни, разнообразия, эстетики — как хотел К. Леонтьев, а для того, чтобы подготовиться к смерти и — поставить памятник. Люди сами себе памятников не воздвигают, но культура должна завершить свое развитие памятником, ибо у нее нет близких, родных и друзей, которые могли бы позаботиться об этом.

Если больше нет связи с вечным, с Богом, нужно ждать: и воздвигнуть Европе — великой и богатой, монумент, который переживет нас, и будет ждать после нас, за нас: будет ждать неизвестного Завершителя, который сотрет последний след о нас, о нашей Европе — или удостоит ее вечности, вечного блаженства или вечных мук. Но, может-быть, этого Завершителя — нет, нет и не будет? — Весьма возможно. Но попытаемся сделать, что можем. Самый прочный памятник — не вечен, но ждет вечности и долгодетнее нас.

Александрийская библиотека, византийский ритуал богослужения, китайская азбука — вот надгробные памятники культуры, ею самой воздвигнутые: и много сил, много любви и вдохновения было потрачено на создание их.

Европа должна позаботиться не только о надгробном памятнике, или вернее памятниках, но также — о кладбище (и возможно дольше охранять его от осквернения).

Византия — после окончания великих религиозных распрей, уничтожения последней значительной ереси — иконоборчества, после так называемого торжества православия в 842 году, тоже была кладбищем — кладбищем духа; в продолжение шести веков, вплоть до своего падения в 1453 году — Византия находилась в оцепенении; творческого развития больше не было, но она сумела — за эти века — создать тот совершенный, но трагический образ — памятник византийства, который до сих пор до конца не понят и ждет ответа.

В праздник Воздвижения честного и животворящего Креста в православных церквах облаченный в золотой саккос архиерей, напоминающий базилевса, пятькратно подымает крест при пении — «Господи помилуй!» и пятикратно склоняется с крестом ниц: это и есть видение Византии, торжественно-величественной, золотой, богатой, но внутренне-смиренной, нищей духом.

Варварская цивилизация в конце концов восторжествует, как предрекали К. Леонтьев и Шпенглер. Но еще нет совершенного, всеобъемлющего, трагического образа Европы: и чтобы создать этот образ, нужно застыть — если не на шесть веков, то хотя бы на шестьдесят лет. Все, что в Европе теперь выдает себя за нечто новое в творческом смысле, да и в любом смысле — сомнительно: мифы XX века — мифы коммунизма и фашизма — это белила и румяна, при помощи которых Европа хочет вернуть то, чего нельзя вернуть — молодость. Всякий футуризм в искусстве и политике, все мечты о создании лучшего будущего, «нового мира», мечты, которые требуют жертв, непосильных для старческого, изношенного организма — преступны. Чтобы жертвовать и требовать жертвы, необходимо наивное сознание своей правоты; а этого сознания — нет; и поэтому так отвратителен, фальшив наигранный энтузиазм современной обманутой, несчастной толпы. Для европейского *intellectuel* должно быть ясно: все, что стремится выдать себя за «новое» в наше время (и порывает с традицией), есть стилизации варварства, жалкая игра в дикость, которая просто смешна, неприлична, и является признаком дурного тона.

А как же *Durchschnittsmensch*? Что же он? Неужели он не скажет, наконец, что не желает быть кроликом для опытов Павловых в политике, для испытания идей надклассового общества и чистой расы? И что желает одно: чтобы идеологическое, тоталитарное государство оставило его в покое; но — был бы прочный порядок, которого не могут обеспечить парламентарно-демократические государства.

У современного европейского человеческого мате-

риала, пушечного мяса — нервы слабые, слишком расшатанные — индустрией, темпами электрического века: и борьба, к которой призывают носители сомнительной, искусственно культивируемой *Wille zur Macht* — не по силам обывателю, *Durchschnittsmensch*'у европейского материка; но строй демократических, либеральных государств — тоже не для него: свободная конкуренция при сложности современного мирового и народного хозяйства не обеспечивает сносного существования, маленького счастья.

Пусть будет «лозунгом» для современного *intellectuel* — все творчески «новое» — неприлично, а для обывателя — все «новое» в политике (большевизм, фашизм) — опасно, и тогда, может-быть, он вспомнит призыв несчастного австрийского канцлера: *Dreimal Oesterreich!* (трижды Австрия!) и найдет силу и волю — для участия в построении целого, которое условно назовем австрийской Европой: это будет Европа не тоталитарная и не либеральная, а основанная на христианских и гуманистических традициях, которые должна поддерживать сильная, авторитарная, просвещенная власть. Нужно работать над созданием идеологии нового просвещенного абсолютизма.

Пусть будет, на некоторое время, тихо в Европе, у которой еще достаточно сил, чтобы отразить желтую опасность и держать в подчинении цветные народы. Пусть будет тихо, как на кладбище или как в музее, или в долгий зимний вечер у камина: и вот несколько поколений маленьких людей будут наслаждаться тихим семейным счастьем, спортом, кино, радио, а *intellectuels* займутся постройкой памятников, под которыми будут зарыты богатства европейской культуры; это завершение, эпилог; но последнее слово, как всегда, не за нами, не — за человеком, а за Богом, в Которого не верим, но Которого хотим. Старец может быть атеистом, но редко гордится своим безбожием и хочет верить.

Говорят, дурак, осознав свою дурность, делается умником. Может-быть, также: мертвец ожил бы, поняв, что он мертв?

Мы должны понять, что в духовном, да и в физическом смысле — мы полумертвецы: и нам нужно осознать этот «факт»; и тогда мы обретем замысел, найдем дело, задачу; и найдется сила, пафос для исполнения этой задачи; но только — ничего слишком нового, ничего — слишком! Иначе распадемся на составные части.

Юрий Иваск.

Печеры, 1938 г.

К смерти или к славе ?

Читатели «Нового Града», вероятно, удивлены — а, может быть, и возмущены, — прочитав статью Ю. Иваска. Действительно, трудно придумать что-нибудь более чуждое нашему духу, чем эта философия реакции, воспитанная на К. Леонтьеве, но оставляющая и его далеко за собой. И Ничше, и К. Леонтьев, и Шпенглер для Иваска все еще слишком оптимисты. Ничше верил в обновление варварством, Леонтьев защищал консерватизм во имя жизни: богатой, прекрасной, хотя и жестокой жизни. Иваск впереди не видит ничего, кроме смерти, и смерть призывает. Кажется, никогда еще дух реакции не выговорил себя до конца с такой откровенностью. Может-быть, Победоносцев таил про себя такие думы. Но и у Победоносцева была вера.

Зачем же тогда «Новый Град» принял его статью? По многим основаниям, из которых главное — необходимость ответа. Такую статью нельзя просто бросить в редакционную корзину или отослать автору. Необходимо ответить по существу. Редко представляется возможность говорить о главном. Главное кажется решенным раз на всегда, и публицисту остается разрабатывать детали. Но время от времени необходим полный пересмотр позиций — генеральная чистка дома.